Ольга Берггольц

Александр Крон

SHOUT
SHARE
IT

- Крон Александр

Крон Александр
Ольга Берггольц

Александр Александрович Крон
Ольга Берггольц
Воспоминания о сверстниках

До войны я никогда не видел Ольгу Берггольц и не читал ее стихов. Ее младшая сестра Мария, актриса Московского Камерного театра, была замужем за моим близким другом Юрием Либединским, от них я не раз слышал, что Ляля необыкновенно умна и талантлива, но Ляля жила в Ленинграде, наезжала редко, печаталась еще реже, и теперь мне уже трудно объяснить, почему в те годы я был так нелюбопытен. Но сегодня, перечитывая довоенные стихи Ольги Берггольц и написанную уже в зрелые годы повесть о поэтической юности, слушая записанный на долгоиграющую пластинку голос Ольги, читающей стихотворения разных лет, я твердо знаю: не война сделала Ольгу Берггольц поэтом, дух поэзии жил в ней всегда, война только раскрыла до конца ее большой самобытный талант, придала ее негромкому голосу покоряющую мощь.

Поэтическая юность Ольги не была бурной, она не заявляла себя ни традиционалисткой, ни новатором, формальные декларации были ей чужды. Не отступая от традиционных размеров, она с первых шагов отличалась своей неповторимой интонацией, очень интимной и в тоже время ярко гражданственной. Анатоль Франс говорил, что писать можно в двух случаях: в силу осознанного общественного долга или острой личной необходимости. Для Ольги этого "или" не существовало. Оба начала были в ней органически слиты.

"Вот то, что я пишу, и есть наконец самое главное, вот тут-то я и выражу все самое свое тайное и драгоценное, необходимое согражданам" - это из "Дневных звезд", замечательной книги, написанной прозой, где в каждой строчке, начиная с названия, слышен голос поэта. Такова была мечта всей ее жизни, цель, много раз достигнутая и вновь ускользавшая, потому что движение вперед всегда заставляет горизонт передвинуться и достигнутое никогда не предел. Недаром Ольга говорила, что Главная книга должна начаться с самого детства, с первых страниц жизни - и так до последнего дыхания.

Впервые мы встретились с Ольгой зимой 1941 - 1942 годов в литературной редакции Ленинградского радиокомитета, или, как мы говорили тогда, "на Радио". Это слово мы писали (да и

произносили) только с большой буквы. Чтобы понять это, надо хоть на минуту представить себе, что значило Радио для жителей и защитников осажденного города. Радиоприемники были только в воинских частях и на кораблях, но черная картонная "тарелка" городской трансляционной сети была в каждой квартире, а мощные уличные репродукторы на каждом перекрестке. Когда ослабевший от голода ленинградец брел своей падающей походкой по почти безлюдной, заметенной снегом улице, репродукторы бережно передавали его из рук в руки, там, где кончалась слышимость одного, начиналась зона слышимости другого. По Радио передавали сигналы воздушной и артиллерийской тревоги, читались сводки о военных действиях, звучала человеческая речь, песня и оркестровая музыка, утром и в полночь отбивали время Кремлевские куранты, в паузах и после окончания передач включался метроном. Радио должно было работать всегда - таков был закон, и, быть может, самым страшным днем за всю историю блокады был тот, когда по техническим причинам Радио целых три часа безмолвствовало, не стучал даже метроном. Радио было духовным хлебом осажденного города, оно сплачивало и вдохновляло, вселяло надежду и уверенность в завтрашнем дне, напоминало, что, несмотря на все обрушившиеся на него испытания, Ленинград живет и борется, а за кольцом блокады есть Большая Земля.

В здании Радиокомитета на улице Пролеткульта литераторы - армейские, флотские и гражданские - были своими людьми. Мы выступали с речами, читали стихи, рассказы и очерки. В большинстве случаев нас передавали прямо в эфир, иногда записывали. Магнитофонов тогда еще не было и запись велась на восковые диски, недалеко ушедшие от валиков эдисоновского фонографа. Фонограмма получалась достаточно четкой, но очень искажала тембр голоса, нас не узнавали, и мы сами не всегда узнавали себя. Но были два голоса, мужской и женский, которые узнавали все ленинградцы с первого произнесенного слова. Это были голоса Всеволода Вишневского и Ольги Берггольц. Оба голоса призывали к мужеству. Голос Всеволода гремел - он говорил с мужчинами, бойцами. Голос Ольги звенел как натянутая струна - она обращалась к женщинам Ленинграда, вселяя в них силу долготерпения и огонек надежды.

В моем блокадном дневничке не отмечена точная дата нашей первой встречи. Это и понятно, не такое было время, чтоб поверять дневнику свои личные впечатления, едва хватало времени и сил на самые скупые деловые записи. А между тем впечатление было сильное. Ольга была полна тогда еще смутно осознаваемым ощущением своей миссии, своего "звездного часа",

и это делало ее не по-блокадному оживленной и, хотя в ту зиму об этом никто всерьез не заботился, - очень красивой. Не отмеченное в дневнике, это первое впечатление нашло косвенное отражение в написанном мной уже после войны романе, где в одной из глав возникает блокадный Радиокомитет:

"...Повсюду кипы скоросшивателей и горы газетных подшивок, среди этого разгрома два десятка мужчин и женщин заняты кто чем: паренек с падающим на лоб чубом склонился над столом и торопливо пишет, пожилая женщина с заплаканным лицом стучит на машинке, кто-то спит, укрывшись ватником, видны только вылезающие из рваных носков голые пятки, а в ногах у спящего лежит, свернувшись калачиком, девочка лет пяти и возится с куклой. Наибольшее оживление у огня. Две раскаленные докрасна времянки установлены посередине зала, здесь кипятят воду и разогревают еду. Худенькая девушка, весь костюм которой состоял из белого лифчика и стеганых армейских штанов, мыла в окоренке длинные волосы, другая - стриженая блондинка - читала сидящим вокруг нее женщинам стихи, вероятно свои. Она слегка грассировала, лицо у нее было задорное и страдальческое".

Конечно, это Ольга, только увиденная глазами моего героя, лейтенанта-подводника, случайно оказавшегося в этом странном мире, прекрасно изображенном ею самой в поэме "Твой путь":

Здесь, как в бреду, все было смещено:
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще вставать с помелей,
пораньше утром, растемнив окно,
в кружок усевшись, - перьями скрипели.
Отсюда передачи шли на город
стихи и сводки, и о хлебе весть.

Во время войны отношения складываются быстро, а этикет упрощается. Нас никто не представлял, мы заговорили сами и через полчаса разговаривали так, как будто знали друг друга с детства. Нас многое сближало - и общие друзья в Москве, и комсомольское прошлое - мы были сверстниками, выходцами из интеллигентных семей, для которых завод (для нее "Электросила", для меня "Красный пролетарий") стал второй школой, во многом определившей дальнейший жизненный путь. Мы подружились сразу, как бывает только в молодости или на войне, и сегодня, просматривая свой блокадный дневник, я вижу, что почти каждое увольнение в город - из Кронштадта или со стоящего на Неве корабля означало встречу с Ольгой, на Радио или у нее дома. Ольга жила тогда на улице Рубинштейна, невдалеке от Невского проспекта и Московского вокзала, в доме,

ничем не примечательном, кроме надписи крупными буквами - суриком по беленому фасаду: "Береги дом: сохраняя его, ты сохраняешь социалистическую собственность!" В годы блокады мы относились к этой прописи с юмором: уважение к социалистической собственности было не единственной причиной, по которой нам хотелось, чтоб дом уцелел.

Ольга была общительна и гостеприимна. И в голодное время и позже, когда пришел достаток, она любила угощать. В блокаду - при свете коптилки, а после войны, когда на Невском уже зажглись электрические фонари, - при свечах, их таинственный свет нравился Ольге, он напоминал ей то прекрасное и трагическое время, когда она впервые ощутила свою покоряющую силу. Страшное время, но "блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...", блокада Ленинграда на всю жизнь осталась для Ольги незаживающей раной и источником поэтического вдохновения. На всю жизнь сохранила Ольга ощущение блокадного братства; люди, которых она узнала и полюбила в военные годы, навсегда становились для нее родными душами. Застолье в доме на улице Рубинштейна никогда не было пустой болтовней, говорили о жизни и о литературе, бывало весело, и все-таки, вспоминая наши встречи, я не могу отделаться от укоров совести, не думать о том, как мы, друзья, нежно любившие Ольгу, мало ее берегли, как скоро мы привыкли к тому, что Оля - "свой парень", и забывали, что она все-таки женщина, притом многое пережившая, с незалеченными травмами, с необыкновенно тонкой, легко возбудимой нервной организацией, и плохо понимали, что, не уступая нам в лихости, Ольга заметно отличается от нас, в большинстве своем здоровенных мужиков, своей незащищенностью. Ольга ни в чем не знала удержу и беречь себя не умела. Ох, сколько раз я впоследствии убеждался, что талант - качество не только драгоценное, но и опасное для его обладателя.

О человеке такого яркого таланта, как Ольга Берггольц, всегда много говорят; обсуждали ее при жизни, вспоминают часто и теперь, когда ее уже нет среди нас. В этих разговорах Ольга представала в самых разных обличьях, то трогательно нежной, то до грубости резкой, радостно-доверчивой и угрюмо-замкнутой, расточительно-щедрой и неожиданно скуповатой, по-комсомольски простой в обращении и высокомерно отчужденной. Во всех этих суждениях, если исключить откровенно недоброжелательные, есть то, что я назвал бы частной правдой. Любой человек, а человек талантливый в особенности, в разные моменты своей жизни, с разными людьми проявляет себя различно, одному приоткрывается одно, другому - нечто другое.

Но для всестороннего понимания такого сложного характера, как Ольга Берггольц, надо помнить: даже недостатки его - естественное продолжение достоинств. Приступы бережливости - кратковременная оторопь, наступавшая после длительного периода, когда деньги тратились без счета, резкость и кажущееся высокомерие - защитная реакция на бесцеремонность и злоупотребление доверием. Если же попытаться определить, что же было в этом привлекательном человеческом характере доминантой, определяющей чертой, то я не знаю лучшего определения, чем ее собственное:

Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю ее,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить.

У Ольги Берггольц был великий дар любви, и приведенная цитата лучше, чем я сумел бы это сделать, объясняет, какое широкое содержание она вкладывала в слово "любовь". Ей было свойственно самозабвенно отдаваться любовному чувству, но я сознательно не буду касаться того немногого, что мне известно об ее интимной жизни, все, что она могла и хотела сделать достоянием других людей, нашло выражение в ее лирических стихах. Любовь была для Ольги понятием гораздо более всеобъемлющим, чем любовная страсть. Она любила детей и страдала от того, что из-за перенесенной травмы материнство было для нее недоступно. Любила друзей, не просто приятельствовала, а любила - требовательно и самоотверженно. Даря друзьям свои книги, чаще всего писала на титуле: "с любовью" - и это не было пустой фразой, она говорила другу "я тебя люблю" с целомудрием четырехлетней девочки и при случае доказывала это делом. Она любила Анну Андреевну Ахматову и бросалась к ней на помощь в самые критические моменты ее жизни; любила Александра Александровича Фадеева, узнав об его смерти, выскочила из дому в одном платье, без билета приехала "стрелой" на похороны, обратно ее привезли простуженную, закутанную в шубу Софьи Касьяновны Вишневецкой, тоже друга блокадных лет. Она любила свой город, свою страну, и это была не абстрактная любовь, позволяющая оставаться равнодушной к частным судьбам. Обостренная способность к сопереживанию - один из самых пленительных секретов ее творчества, яркое доказательство тому - изумительные стихотворные беседы с

сестрой, с соседкой по дому. Не знаю, существовала ли на самом деле соседка по имени Дарья Власьевна или это дань стихотворному размеру, но женщины Ленинграда были для Ольги не безликой массой, а именно соседками, чьи заботы и горести она знала как свои. Эту способность к сопереживанию я особенно оценил во время нашего эпизодического сотрудничества. Зимой 1943 года мне была дана возможность написать пьесу для театра Балтийского флота. В непривычно краткий срок пьеса была готова, не хватало только песни. В этом жанре Ольга никогда, или почти никогда, не работала, на флоте были свои поэты-песенники, и все-таки я обратился к Ольге.

Ольга согласилась сразу. Но тут же ее обуяли сомнения:

- Ты думаешь, я могу?

- Уверен.

- Застольная песня? Это что же - за тех, кто в море?

- Приблизительно. Но это тост. А мне нужен призыв, страстная мольба... Притом женская.

- Ну, ну? Скажи еще что-нибудь...

- Это должно быть как заклинание. Где бы ты ни был, моряк, в этот час...

Ольга задумалась. И вдруг засмеялась.

- Где бы ты ни был, моряк, в этот час? Знаешь, это уже похоже на первую строчку. Ладно, попробую.

На следующий день при встрече я получил листок бумаги с написанными от руки словами будущей песни:

Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай - тебя ожидает подруга, дыханья верней,
С моря не сводит влюбленных, тоскующих глаз.
Радуясь волнам и солнцу - помни о пей!
Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай - тебя ожидают друзья боевые твои,
Ловят молву о тебе,
как мужчины мужчиной гордясь.
Гибели глядя в глаза - помни о них!
Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай - на земле и друзья, и подруга, и дом.
Милый отеческий край, где весна пролетает сейчас.
Каждым биением сердца - помни о нем.

Помнится, я ничего не говорил Ольге о весне, но она знала: флот готовится к весенней кампании, премьера вероятнее всего состоится весной, и ее удивительная способность к сопереживанию подсказала ей строчку о пролетающей весне. Вероятно, Ольга была права, не включая в свои поэтические сборники эти искренние, но наспех рожденные строчки. Однако

мне они дороги. Положенные на музыку, они неизменно находили горячий отклик у моряков.

Способность пылко отдаваться чувству бесконечно обогащала творчество Ольги Берггольц, но она же делала ее ранимой. Потери и разочарования становились для нее катастрофой, незаживающей душевной травмой. Накапливаясь, они приводили к приступам тяжелой депрессии.

Другим прекрасным и опасным качеством Ольги была искренность. Она проявлялась не только в стремлении открыться, но и в неумении что-либо скрывать. Открытая в своих привязанностях, она не умела таить неприязнь. Ложь, трусость, чванство и фарисейство Ольга ненавидела до глубины души, и, даже когда она молчала, приговор можно было прочитать на ее лице. Делалось это совершенно непроизвольно и оттого еще больше задевало. Она не боялась создавать себе врагов. Искренность ее публичных выступлений покоряла, но случалось, навлекала на нее серьезные неприятности, и меня всегда восхищало редкостное достоинство, с каким она держала себя в самых трудных ситуациях. У нее было настоящее гражданское мужество, качество, по моим наблюдениям, более редкое, чем физическая отвага. Даже в последние годы жизни, уже подточенная тяжелой болезнью, Ольга сохранила свой неукротимый дух и творческий запал. Вспомним, что "Дневные звезды" - книгу, которую она считала как бы прологом к своей Главной книге, - она написала уже будучи неизлечимо больной.

После войны мы с Ольгой виделись реже, но не теряли друг друга никогда. Ленинград стал для меня, москвича, вторым родным городом, а Ольга каждый год, иногда подолгу, бывала в Москве. С Москвой ее связывали и творческие интересы, например, постановка А.Я.Таировым пьесы "Рождены в Ленинграде", написанной в соавторстве с Георгием Макогоненко, но еще больше сестра, близкие друзья, старые и новые, в том числе Софья Тихоновна Дунина, театровед и критик, женщина образованная и остроумная, удивительно умевшая ободрять и даже веселить Ольгу, когда та впадала в мрак. Ольга часто звонила ей из Ленинграда, звонки раздавались вечером, а иногда и ночью: "София, скажите мне что-нибудь..." Бывало, разговор затягивался настолько, что телефонистка сурово предупреждала: "Вы говорите уже двадцать пять минут", а Ольга сердито шипела: "Не прерывайте, мне нужно еще пять минут. Ну десять..."

Моя память сохранила Ольгу всякой: печальной, задорной, величественной, ребячливой, общительной, замкнутой. Светящейся от радости в преддверии материнства и опустошенной после неудачной попытки сохранить ребенка.

Помню язвительной и помню нежной, в Ленинграде и в Москве, в Крыму и в Подмосковье, в разные годы, в разном состоянии духа, но неизменно привлекавшей сердца окружающих обаянием ума и таланта. Помню и в более поздние времена, когда прогрессирующая болезнь делала ее зачастую трудной в быту и в повседневном общении. Но и в этом состоянии у нее были блистательные просветы, заставлявшие помнить, что Ольга - это Ольга, чей талант и разум не угасли, и, может быть, именно поэтому мне особенно врезались в память несколько эпизодов, относящихся к последним годам ее жизни.

Первый - начало пятидесятых годов. Ольга в Москве. Приезжая в столицу, она неизменно останавливалась в гостинице "Москва", всегда на одном и том же этаже. Получить без брони номер в центральной гостинице - задача вообще нелегкая, а в сезон съездов, научных конгрессов или наплыва иностранных туристов - особенно. Для Ольги Берггольц номер находился всегда. Секрет был самый простой - ее знали и любили. На этаже за ней ухаживали как за дорогой гостьей и не слишком обременяли соблюдением суровых гостиничных правил, друзья засиживались у нее до поздней ночи.

И вот как-то поздним вечером раздается телефонный звонок: "Шура, Лиза... Ребята, пустите меня к себе. Я не могу одна..." Я жил тогда вместе с женой и с падчерицей - студенткой ГИТИСа в крошечной и неудобной квартирке, на гостей, особливо беспокойных, она рассчитана не была, но законы блокадной дружбы священны - для Ольги место нашлось. Она приехала на "леваке" и прожила у нас двое суток, за это время ни разу не вышла на улицу, почти ничего не ела и, главное, почти не спала. Ночью она просыпалась, жалуясь, что ей мешают спать поселившиеся у нас в форточке-отдушине голуби, они вызывали у нее какие-то тягостные воспоминания. Среди ночи на нее нападало желание читать стихи и ей нужна была аудитория. Но стихи она читала прекрасные, а ее рассказами о своих юных годах можно было заслушаться. Впрочем, Ольга не только говорила, но и слушала жадно, в нашем прошлом было много схожего: завод, комсомол, увлечение театром... Конечно, неожиданный визит порядком нарушил мои рабочие планы, но у меня и у моих близких от посещения Ольги осталось ощущение праздника - вместе с беспокойной гостьей в нашу хмуроватую квартирку ворвалась сама Поэзия.

Второе воспоминание - это уже шестидесятые годы, точнее - февраль 1969 года. По городу расклеены афиши: "Писатели - участники героической обороны Ленинграда". Дата круглая - 25 лет со дня прорыва блокады. На афише два десятка писательских

имен, ленинградцев и москвичей, в том числе несколько знаменитых. Но я уверен: никого с таким нетерпением не ждали ленинградцы, как Ольгу Берггольц. А Ольга была в больнице и выступать ей было запрещено.

Этот вечер я запомнил на всю жизнь, и вот уже десять лет не снимаю со стены своей комнаты приколотую кнопками старую афишу. Мы вновь оказались в том самом прекрасном Колонном зале Ленинградской филармонии, где четверть века назад выступали перед жителями осажденного города, где впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. С тех пор внешний вид зала заметно изменился, некогда сырой и холодный, он обрел довоенный уют, стал светлее и нарядней, но многое властно напоминало о блокаде: и то, что начало было объявлено не на семь часов вечера, как обычно, а по-блокадному, на четыре часа, как в те годы, когда в Ленинграде соблюдался комендантский час; и то, что среди зрителей первых рядов я, сидя на эстраде, безошибочно различал бывших блокадников, различал не столько даже по зеленым муаровым ленточкам медали "За оборону Ленинграда", сколько по глазам, по тому, как взволнованно эти немолодые люди, пришедшие в этот зал с детьми, а кто и с внуками, ловили каждое слово. Всех выступавших принимали очень тепло, но настоящую овацию вызвало появление на эстраде запоздавшей к началу Ольги Берггольц. Она была не одна, рядом с ней шел явно смущенный своим появлением перед переполненным залом человек в темной пиджачной паре - это был фельдшер из больницы, администрация отпустила Ольгу под его личную ответственность, и в течение всего вечера он сидел с нею рядом, стараясь быть как можно более незаметным.

Я с волнением ждал выступления Ольги. Кроме волнения было и беспокойство: как она? Моя тревога еще усилилась, когда встреченная горячими аплодисментами Ольга встала и пошла к установленной на краю эстрады стойке с микрофоном, походка у нее была неуверенная. Я не отрывал глаз от ее ног в высоких черных замшевых ботинках. Но, подойдя к микрофону, Ольга вдруг обрела прежнюю осанку - прямизну плеч, гордый постав головы, знакомую манеру встряхивать падающей на лоб светлой - все еще не седой - прядью. Не помню, что говорила и читала Ольга, к слову сказать, в тот день, разогретые приемом аудитории, многие писатели выступали хорошо, но выступление Ольги было незабываемым, и то, что я не в силах восстановить его в памяти, ничуть тому не противоречит, незабываемым было потрясение. Все пережившие блокаду, и те, кто сидели на эстраде, и те, кто были в зале, на несколько минут помолодели, они

вспомнили себя такими, какими были двадцать пять лет назад, опаленными войной и блокадой, но гордыми своей причастностью к историческому подвигу. Ольге аплодировали стоя, кричали "Спасибо!".

Последняя встреча. Я опять в Ленинграде и опять с делегацией москвичей. После памятного мне вечера я долго не виделся с Ольгой, хотя всегда знал о ней от общих друзей, чаще всего от Веры Казимировны Кетлинской. Вера Казимировна относилась к Ольге с трогательной заботливостью, резкая и самолюбивая, она с поражавшей меня терпимостью сносила перепады в настроении Ольги и не позволяла с собой поссориться.

Приехав, я первым делом справился об Ольге, мне сказали, что Ольга тяжело больна, нигде не бывает и никого не пускает к себе, звонить ей бесполезно, к телефону подходит ее домоправительница, сама Ольга берет трубку редко. Я еще раздумывал как быть, когда мне позвонил приехавший с той же делегацией Лев Ильич Левин: "Ольга хочет нас видеть, просит захватить с собой бутылку сухого белого вина, одну, не больше"... И мы поехали в тот же день на набережную Черной речки, застроенную новыми домами, где лишь немногие из жителей знают точное место дуэли Пушкина. Ольгу мы застали лежащей в постели, по-видимому, она была очень слаба, такой тихой и беспомощной я ее никогда не видел. Затем она сидела, обложенная подушками, и мы распили вчетвером принесенную бутылку рислинга. Ольга оживилась, голос ее окреп, мы заговорили о литературе, вспомнили блокадные годы - перед нами была прежняя Ольга, ласковая и смешливая, с ясной памятью на людей и события. В середине нашего разговора позвонили то ли из издательства, то ли из Радиокомитета, и Ольге пришлось взять трубку, не потому что это было какое-то начальство, а потому что существовал требовавший срочного разрешения конфликтный вопрос, и я хорошо запомнил, как твердо, с каким спокойным достоинством Ольга отстаивала свою точку зрения. Не только отстаивала, но и отстояла, когда она, извинившись перед нами, вернулась к прерванному разговору, глаза ее задорно блестели. Разговор наш продолжался еще около часа, пока мы не почувствовали, что Ольга устала. На прощанье мы получили по долгоиграющей пластинке с записью стихотворений разных лет в авторском чтении. Никаких лишних слов при этом не было сказано, прощались так, как люди, которые еще не раз увидятся, но у меня - вероятно, у Льва Ильича тоже - было тревожно на душе.

Я очень дорожу подаренными Ольгой книгами, но эта

пластинка мне еще дороже. На плотном глянцевом конверте большой фотопортрет Ольги - лучший из всех, какие я знаю. В левом верхнем углу твердым Ольгиным почерком: "Саше Крону, другу, с любовью. Ольга Берггольц". Я часто подолгу смотрю на пластинку, но на проигрыватель ставлю редко. Это каждый раз событие. В первые послевоенные годы мне нужно было сделать над собой усилие, чтоб заглянуть в свои блокадные дневники, слишком свежа была боль. Нечто подобное я ощущаю, слушая голос Ольги, в этот день я уже не умею думать ни о чем другом.

1978